

МИХАИЛ БУЛГАКОВ

МОРФИЙ
(СБОРНИК)

Эксклюзив: Русская классика

Михаил Булгаков
Морфий (сборник)

«Public Domain»

2016

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Булгаков М. А.

Морфий (сборник) / М. А. Булгаков — «Public Domain»,
2016 — (Эксклюзив: Русская классика)

В этот сборник вошли произведения Булгакова, носящие автобиографический характер, – остроумная, ироничная повесть «Записки на манжетах», посвященная скитаниям по послереволюционному Кавказу, сложным отношениям с «красной» властью и собратями по перу, мечтам об эмиграции и первым опытом в литературе, и потрясающие «Записки юного врача» – почти документальные очерки Булгакова о святом и страшном жребии служителя Гиппократов в нищей, почти средневековой российской провинции начала 1920-х. В книгу включен и «Морфий» – пугающе откровенная, мучительная исповедь, послужившая основой для одноименного фильма Алексея Балабанова.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Булгаков М. А., 2016
© Public Domain, 2016

Содержание

Записки юного врача	6
Полотенце с петухом	6
Крещение поворотом	14
Стальное горло	20
Вьюга	25
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Михаил Афанасьевич Булгаков

Морфий (сборник)

© М. Булгаков, наследники, 2016

© ООО «Издательство АСТ», 2016

Записки юного врача

Полотенце с петухом

Если человек не ездил на лошадях по глухим проселочным дорогам, то рассказывать мне ему об этом нечего: все равно он не поймет. А тому, кто ездил, и напоминать не хочу.

Скажу коротко: сорок верст, отделяющих уездный город Грачевку от Мурьинской больницы, ехали мы с возницей моим ровно сутки. И даже до курьезного ровно: в два часа дня 16 сентября 1917 года мы были у последнего лабаза, помещающегося на границе этого замечательного города Грачевки, а в два часа пять минут 17 сентября того же 17-го незабываемого года я стоял на битой, умирающей и смякшей от сентябрьского дождика траве во дворе Мурьинской больницы. Стоял я в таком виде: ноги окостенели, и настолько, что я смутно тут же во дворе мысленно перелистывал страницы учебников, тупо стараясь припомнить, существует ли действительно, или мне это померещилось во вчерашнем сне в деревне Грабиловке, болезнь, при которой у человека окостеневают мышцы? Как ее, проклятую, зовут по-латыни? Каждая из мышц этих болела нестерпимой болью, напоминающей зубную боль. О пальцах на ногах говорить не приходится – они уже не шевелились в сапогах, лежали смирно, были похожи на деревянные кульяпки. Сознаюсь, что в порыве малодушия я проклинал шепотом медицину и свое заявление, поданное пять лет назад ректору университета. Сверху в это время сеяло, как сквозь сито. Пальто мое набухло, как губка. Пальцами правой руки я тщетно пытался ухватиться за ручку чемодана и наконец плюнул на мокрую траву. Пальцы мои ничего не могли хватать, и опять мне, начиненному всякими знаниями из интересных медицинских книжек, вспомнилась болезнь – паралич.

«Парализис», – отчаянно мысленно и черт знает зачем сказал я себе.

– П... по вашим дорогам, – заговорил я деревянными, синенькими губами, – нужно п... привыкнуть ездить.

И при этом злобно почему-то уставился на возницу, хотя он, собственно, и не был виноват в такой дороге.

– Эх... товарищ доктор, – отозвался возница, тоже еле шевеля губами под светлыми усами, – пятнадцать годов езжу, а все привыкнуть не могу.

Я содрогнулся, оглянулся тоскливо на белый облупленный двухэтажный корпус, на небеленные бревенчатые стены фельдшерского домика, на свою будущую резиденцию – двухэтажный, очень чистенький дом с гробовыми загадочными окнами, протяжно вздохнул. И тут же мутно мелькнула в голове вместо латинских слов сладкая фраза, которую спел в ошалевших от качки и холода мозгах полный тенор с голубыми ляжками:

...Привет тебе... при-ют свя-щенный...

Прощай, прощай надолго, золото-красный Большой театр, Москва, витрины... ах, прощай.

«Я тулуп буду в следующий раз надевать... – в злобном отчаянии думал я и рвал чемодан за ремни негнушимися руками, – я... хотя в следующий раз будет уже октябрь... хоть два тулупа надевай. А раньше чем через месяц я не поеду, не поеду в Грачевку... Подумайте сами... ведь ночевать пришлось! Двадцать верст сделали и оказались в могильной тьме... ночь... В Грабиловке пришлось ночевать... учитель пустил... А сегодня утром выехали в семь утра... И вот едешь... батюшки-светы... медленнее пешехода. Одно колесо ухает в яму, другое на воздух подымается, чемодан на ноги – бух... потом на бок, потом на другой, потом носом

вперед, потом затылком. А сверху сеет и сеет, и стынут кости. Да разве я мог бы поверить, что в середине серенького кислого сентября человек может мерзнуть в поле, как в лютую зиму?! Ан, оказывается, может. И пока умираешь медленною смертью, видишь одно и то же, одно. Справа горбатое обглоданное поле, слева чахлый перелесок, а возле него серые драные избы, штук пять или шесть. И кажется, что в них нет ни одной живой души. Молчание, молчание кругом...»

Чемодан наконец поддался. Возница налег на него животом и выпихнул его прямо на меня. Я хотел удержать его за ремень, но рука отказалась работать, и распухший, осточертевший мой спутник с книжками и всяким барахлом плюхнулся прямо на траву, шарахнув меня по ногам.

– Эх ты, Госпо... – начал возница испуганно, но я никаких претензий не предъявлял – ноги у меня были все равно хоть выбрось их.

– Эй, кто тут? Эй! – закричал возница и захлопал руками, как петух крыльями. – Эй, доктора привез!

Тут в темных стеклах фельдшерского домика показались лица, прилипли к ним, хлопнула дверь, и вот я увидел, как заковылял по траве ко мне человек в рваненьком пальтишке и сапожишках. Он почтительно и торопливо снял картуз, подбежав на два шага ко мне, почему-то улыбнулся стыдливо и хриплым голосом приветствовал меня:

– Здравствуйте, товарищ доктор.

– Кто вы такой? – спросил я.

– Егорыч я, – отрекомендовался человек, – сторож здешний. Уж мы вас ждем, ждем...

И тут же он ухватился за чемодан, вскинул его на плечо и понес. Я захромал за ним, безуспешно пытаюсь всунуть руку в карман брюк, чтобы вынуть портмоне.

Человеку, в сущности, очень немного нужно. И прежде всего ему нужен огонь. Направляясь в мурьинскую глушь, я, помнится, еще в Москве давал себе слово держать себя солидно. Мой юный вид отравлял мне существование на первых шагах. Каждому приходилось представляться:

– Доктор такой-то.

И каждый обязательно поднимал брови и спрашивал:

– Неужели? А я-то думал, что вы еще студент.

– Нет, я кончил, – хмуро отвечал я и думал: «Очки мне нужно завести, вот что». Но очки было заводить не к чему, глаза у меня были здоровые, и ясность их еще не была омрачена житейским опытом. Не имея возможности защищаться от всегдашних снисходительных и ласковых улыбок при помощи очков, я старался выработать особую, внушающую уважение, повадку. Говорить пытался размеренно и веско, порывистые движения по возможности сдерживать, не бегать, как бегают люди в двадцать три года, окончившие университет, а ходить. Выходило все это, как теперь, по прошествии многих лет, понимаю, очень плохо.

В данный момент я этот свой неписанный кодекс поведения нарушил. Сидел, скорчившись, сидел в одних носках, и не где-нибудь в кабинете, а сидел в кухне и, как огнепоклонник, вдохновенно и страстно тянулся к пылающим в плите березовым поленьям. На левой руке у меня стояла перевернутая дном кверху кадушка, и на ней лежали мои ботинки, рядом с ними ободранный, голокожий петух с окровавленной шеей, рядом с петухом его разноцветные перья грудой. Дело в том, что еще в состоянии окоченения я успел произвести целый ряд действий, которых потребовала сама жизнь. Востроносая Аксинья, жена Егорыча, была утверждена мною в должности моей кухарки. Вследствие этого и погиб под ее руками петух. Его я должен был съесть. Я со всеми перезнакомился. Фельдшера звали Демьян Лукич, акушерок – Пелагея Ивановна и Анна Николаевна. Я успел обойти больницу и с совершеннейшей ясностью убедился в том, что инструментарий в ней богатейший. При этом с тою же ясностью я вынужден был признать (про себя, конечно), что очень многих блестящих девственно инструментов назначе-

ние мне вовсе неизвестно. Я их не только не держал в руках, но даже, откровенно признаюсь, и не видал.

– Гм, – очень многозначительно промычал я, – однако у вас инструментарий прелестный. Гм...

– Как же-с, – сладко заметил Демьян Лукич, – это все стараниями вашего предшественника Леопольда Леопольдовича. Он ведь с утра до вечера оперировал.

Тут я облился прохладным потом и тоскливо поглядел на зеркальные сияющие шкафики.

Засим мы обошли пустые палаты, и я убедился, что в них свободно можно разместить сорок человек.

– У Леопольда Леопольдовича иногда и пятьдесят лежало, – утешил меня Демьян Лукич, а Анна Николаевна, женщина в короне поседевших волос, к чему-то сказала:

– Вы, доктор, так моложавы, так моложавы... Прямо удивительно. Вы на студента похожи.

«Футы, черт, – подумал я, – как сговорились, честное слово!»

И проворчал сквозь зубы, сухо:

– Гм... нет, я... то есть я... да, моложав...

Затем мы спустились в аптеку, и сразу я увидел, что в ней не было только птичьего молока. В темноватых двух комнатах крепко пахло травами, и на полках стояло все что угодно. Были даже патентованные заграничные средства, и нужно ли добавлять, что я никогда не слышал о них ничего.

– Леопольд Леопольдович выписал, – с гордостью доложила Пелагея Ивановна.

«Прямо гениальный человек был этот Леопольд», – подумал я и проникся уважением к таинственному, покинувшему тихое Мурье Леопольду.

Человеку, кроме огня, нужно еще освоиться. Петух был давно мною съеден, сенник для меня набит Егорычем, покрыт простыней, горела лампа в кабинете в моей резиденции. Я сидел и как зачарованный глядел на третье достижение легендарного Леопольда: шкаф был битком набит книгами. Одних руководств по хирургии на русском и немецком языках я насчитал бегло около тридцати томов. А терапия! Накожные чудные атласы!

Надвигался вечер, и я осваивался.

«Я ни в чем не виноват, – думал я упорно и мучительно, – у меня есть диплом, я имею пятнадцать пятаков. Я же предупреждал еще в том большом городе, что хочу идти вторым врачом. Нет. Они улыбались и говорили: “Освоитесь”. Вот тебе и освоитесь. А если грыжу привезут? Объясните, как я с нею освоюсь? И в особенности каково будет чувствовать себя больной с грыжей у меня под руками? Освоится он на том свете (тут у меня холод по позвоночнику)...

А гнойный аппендицит? Га! А дифтерийный круп у деревенских ребят? Когда трахеотомия показана? Да и без трахеотомии будет мне не очень хорошо... А... а... роды! Роды-то забыл! Неправильные положения. Что ж я буду делать? А? Какой я легкомысленный человек! Нужно было отказаться от этого участка. Нужно было. Достали бы себе какого-нибудь Леопольда».

В тоске и сумерках я прошелся по кабинету. Когда поравнялся с лампой, увидел, как в безграничной тьме полей мелькнул мой бледный лик рядом с огоньками лампы в окне.

«Я похож на Лжедмитрия», – вдруг глупо подумал я и опять уселся за стол.

Часа два в одиночестве я мучил себя и домучил до тех пор, что уж больше мои нервы не выдерживали созданных мною страхов. Тут я начал успокаиваться и даже создавать некоторые планы.

Так-с... Прием, они говорят, сейчас ничтожный. В деревнях мнут лен, бездорожье... «Тут-то тебе грыжу и привезут, – бухнул суровый голос в мозгу, – потому что по бездорожью человек с насморком (нетрудная болезнь) не поедет, а грыжу притащат, будь покоен, дорогой коллега доктор».

Голос был неглуп, не правда ли? Я вздрогнул.

«Молчи, – сказал я голосу, – не обязательна грыжа. Что за неврастения? Взялся за гуж, не говори, что не дюж».

«Назвался груздем, полезай в кузов», – ехидно отозвался голос.

Так-с... со справочником я расставаться не буду... Если что выписать, можно, пока руки моешь, обдумать. Справочник будет раскрытым лежать прямо на книге для записей больных. Буду выписывать полезные, но нетрудные рецепты. Ну, например, натри салицилицы 0,5 по одному порошку три раза в день...

«Соду можно выписать!» – явно издеваясь, отозвался мой внутренний собеседник.

При чем тут сода? Я и ипекакуанку выпишу – инфузум... на 180. Или на двести. Позвольте.

И тут же, хотя никто и не требовал от меня в одиночестве у лампы ипекакуанки, я малодушно перелистал рецептурный справочник, проверил ипекакуанку, а попутно прочитал машинально и о том, что существует на свете какой-то «инсипин». Он не кто иной, как «сульфат эфира хининдигликолевой кислоты»... Оказывается, вкуса хинина не имеет! Но зачем он? И как его выписать? Он что – порошок? Черт его возьми!

«Инсипин инсипином, а как же все-таки с грыжей будет?» – упорно приставал страх в виде голоса.

«В ванну посажу, – остервенело защищался я, – в ванну. И попробую вправить».

«Ущемленная, мой ангел! Какие тут, к черту, ванны! Ущемленная, – демонским голосом пел страх. – Резать надо...»

Тут я сдался и чуть не заплакал. И моление тьме за окном послал: все, что угодно, только не ущемленную грыжу.

А усталость напевала:

«Ложись ты спать, злосчастный эскулап. Выспишься, а утром будет видно. Успокойся, юный неврастеник. Гляди – тьма за окнами покойна, спят стынувшие поля, нет никакой грыжи. А утром будет видно. Освоишься... Спи... Брось атлас... Все равно ни пса сейчас не разберешь. Грыжевое кольцо...»

Как он влетел, я даже не сообразил. Помнится, болт на двери загремел, Аксиныя что-то пискнула. Да еще за окнами проскрипела телега.

Он без шапки, в расстегнутом полушубке, со свалывшейся бородкой, с безумными глазами.

Он перекрестился, и повалился на колени, и бухнул лбом в пол. Это мне.

«Я пропал», – тоскливо подумал я.

– Что вы, что вы, что вы! – забормотал я и потянул за серый рукав.

Лицо его перекосило, и он, захлебываясь, стал бормотать в ответ прыгающие слова:

– Господин доктор... господин... единственная, единственная... единственная! – выкрикнул он вдруг по-юношески звонко, так, что дрогнул ламповый абажур. – Ах ты, Господи... Ах... – Он в тоске заломил руки и опять забухал лбом в половицы, как будто хотел разбить его. – За что? За что наказание?.. Чем прогневали?

– Что? Что случилось?! – выкрикнул я, чувствуя, что у меня холодеет лицо.

Он вскочил на ноги, метнулся и прошептал так:

– Господин доктор... что хотите... денег дам... Деньги берите, какие хотите. Какие хотите. Продукты будем доставлять... Только чтоб не померла. Только чтоб не померла. Калекой останется – пушай. Пушай! – кричал он в потолок. – Хватит прокормить, хватит.

Бледное лицо Аксины висело в черном квадрате двери. Тоска обвилась вокруг моего сердца.

– Что?.. Что? Говорите! – выкрикнул я болезненно. Он стих и шепотом, как будто по секрету, сказал мне, и глаза его стали бездонны:

– В мялку попала...

– В мялку... В мялку?... – переспросил я. – Что это такое?

– Лен, лен мяли... господин доктор... – шепотом пояснила Аксинья, – мялка-то... лен мнут...

«Вот начало. Вот. О, зачем я приехал!» – в ужасе подумал я.

– Кто?

– Дочка моя, – ответил он шепотом, а потом крикнул: – Помогите! – И вновь повалился, и стриженные его в скобку волосы метнулись на его глаза.

* * *

Лампа-молния с покривившимся жестяным абажуром горела жарко, двумя рогами. На операционном столе, на белой, свежеспавшей клеенке я ее увидел, и грыжа померкла у меня в памяти.

Светлые, чуть рыжеватые волосы свешивались со стола сбившимся засохшим колтуном. Коса была гигантская, и конец ее касался пола.

Ситцевая юбка была изорвана, и кровь на ней разного цвета – пятно бурое, пятно жирное, алое. Свет «молнии» показался мне желтым и живым, а ее лицо бумажным, белым, нос заострен.

На белом лице у нее, как гипсовая, неподвижная, потухала действительно редкостная красота. Не всегда, не часто встретишь такое лицо.

В операционной секунд десять было полное молчание, но за закрытыми дверями слышно было, как глухо выкрикивал кто-то и бухал, все бухал головой.

«Обезумел, – думал я, – а сиделки, значит, его отпаивают... Почему такая красавица? Хотя у него правильные черты лица... Видно, мать была красивая... Он вдовец...»

– Он вдовец? – машинально шепнул я.

– Вдовец, – тихо ответила Пелагея Ивановна.

Тут Демьян Лукич резким, как бы злобным движением от края до верха разорвал юбку и сразу ее обнажил. Я глянул, и то, что увидал, превысило мои ожидания. Левого ноги, собственно, не было. Начиная от раздробленного колена, лежала кровавая рвань, красные мятые мышцы и остро во все стороны торчали белые раздавленные кости. Правая была переломлена в голени так, что обе кости концами выскочили наружу, пробив кожу. От этого ступня ее безжизненно, как бы отдельно, лежала, повернувшись набок.

– Да, – тихо молвил фельдшер и ничего больше не прибавил.

Тут я вышел из оцепенения и взялся за ее пульс. В холодной руке его не было. Лишь после нескольких секунд нашел я чуть заметную редкую волну. Она прошла... потом была пауза, во время которой я успел глянуть на синеющие крылья носа и белые губы... Хотел уже сказать: конец... по счастью, удержался... Опять прошла ниточкой волна.

«Вот как потухает изорванный человек, – подумал я, – тут уж ничего не сделаешь...»

Но вдруг сурово сказал, не узнавая своего голоса:

– Камфары.

Тут Анна Николаевна склонилась к моему уху и шепнула:

– Зачем, доктор? Не мучайте. Зачем еще колоть? Сейчас отойдет... Не спасете.

Я злобно и мрачно оглянулся на нее и сказал:

– Попрошу камфары...

Так, что Анна Николаевна с вспыхнувшим обиженным лицом сейчас же бросилась к столику и сломала ампулу.

Фельдшер тоже, видимо, не одобрял камфары. Тем не менее он ловко и быстро взялся за шприц, и желтое масло ушло под кожу плеча.

«Умирай. Умирай скорее, – подумал я, – умирай. А то что же я буду делать с тобой?»

– Сейчас помрет, – как бы угадав мою мысль, шепнул фельдшер. Он покосился на простыню, но, видимо, раздумал: жаль было кровавить простыню. Однако через несколько секунд ее пришлось прикрыть. Она лежала как труп, но она не умерла. В голове моей вдруг стало светло, как под стеклянным потолком нашего далекого анатомического театра.

– Камфары еще, – хрипло сказал я.

И опять покорно фельдшер впрыснул масло.

«Неужели же не умрет?.. – отчаянно подумал я. – Неужели придется...»

Все светлело в мозгу, и вдруг без всяких учебников, без советов, без помощи я сообразил – уверенность, что сообразил, была железной, – что сейчас мне придется в первый раз в жизни на угасающем человеке делать ампутацию. И человек этот умрет под ножом. Ах, под ножом умрет. Ведь у нее же нет крови! За десять верст вытекло все через раздробленные ноги, и неизвестно даже, чувствует ли она что-нибудь сейчас, слышит ли. Она молчит. Ах, почему она не умирает? Что скажет мне безумный отец?

– Готовьте ампутацию, – сказал я фельдшеру чужим голосом.

Акушерка посмотрела на меня дико, но у фельдшера мелькнула искра сочувствия в глазах, и он заметался у инструментов. Под руками у него взревел примус...

Прошло четверть часа. С суеверным ужасом я вглядывался в угасший глаз, приподымая холодное веко. Ничего не постигаю... Как может жить полутруп? Капли пота неудержимо бежали у меня по лбу из-под белого колпака, и марлей Пелагея Ивановна вытирала соленый пот. В остатках крови в жилах у девушки теперь плавал и кофеин. Нужно было его впрыскивать или нет? На бедрах Анна Николаевна, чуть-чуть касаясь, гладила бугры, набухшие от физиологического раствора. А девушка жила.

Я взял нож, стараясь подражать (раз в жизни в университете я видел ампутацию) кому-то... Я умолял теперь судьбу, чтобы уж в ближайшие полчаса она не померла... «Пусть умрет в палате, когда я кончу операцию...»

За меня работал только мой здравый смысл, подхлестнутый необычностью обстановки. Я кругообразно и ловко, как опытный мясник, острейшим ножом полоснул бедро, и кожа разошлась, не дав ни одной росинки крови. «Сосуды начнут кровить, что я буду делать?» – думал я и, как волк, косился на груду торзионных пинцетов. Я срезал громадный кус женского мяса и один из сосудов – он был в виде беловатой трубочки, – но ни капли крови не выступило из него. Я зажал его торзионным пинцетом и двинулся дальше. Я натывал эти торзионные пинцеты всюду, где предполагал сосуды... «Arteria... arteria... как, черт, ее?..» В операционной стало похоже на клинику. Торзионные пинцеты висели гроздьями. Их марлей оттянули кверху вместе с мясом, и я стал мелкозубой ослепительной пилой пилить круглую кость.

«Почему не умирает?.. Это удивительно... ох, как живуч человек!»

И кость отпала. В руках у Демьяна Лукича осталось то, что было девичьей ногой. Лохмы, мясо, кости! Всё это отбросили в сторону, и на столе оказалась девушка, как будто укороченная на треть, с оттянутой в сторону культей. «Еще, еще немножко... Не умирай, – вдохновенно думал я, – потерпи до палаты, дай мне выскочить благополучно из этого ужасного случая моей жизни».

Потом вязали лигатурами, потом, шелкая коленом, я стал редкими швами зашивать кожу... но остановился, осененный, сообразил... оставил сток... вложил марлевый тампон... Пот застилал мне глаза, и мне казалось, будто я в бане...

Отдулся. Тяжело посмотрел на культю, на восковое лицо. Спросил:

– Жива?

– Жива... – как беззвучное эхо, отозвались сразу и фельдшер, и Анна Николаевна.

– Еще минуточку проживет, – одними губами, без звука в ухо сказал мне фельдшер. Потом запнулся и деликатно посоветовал: – Вторую ногу, может, и не трогать, доктор. Марлей, знаете ли, замотаем... А то не дотянет до палаты... А? Все лучше, если не в операционной скончается.

– Гипс давайте, – сипло отозвался я, толкаемый неизвестной силой.

Весь пол был заляпан белыми пятнами, все мы были в поту. Полутруп лежал недвижно. Правая нога была забинтована гипсом, и зияло на голени вдохновенно оставленное мною окно на месте перелома.

– Живет... – удивленно хрипнул фельдшер.

Затем ее стали подымать, и под простыней был виден гигантский провал – треть ее тела мы оставили в операционной.

Затем колыхались тени в коридоре, шмыгали сиделки, и я видел, как по стене прокралась растрепанная мужская фигура и издала сухой вопль. Но его удалили. И стихло.

В операционной я мыл окровавленные по локоть руки.

– Вы, доктор, вероятно, много делали ампутаций? – вдруг спросила Анна Николаевна. – Очень, очень хорошо... Не хуже Леопольда...

В ее устах слово «Леопольд» неизменно звучало, как «Дуайен».

Я исподлобья взглянул на лица. И у всех – и у Демьяна Лукича, и у Пелагеи Ивановны – заметил в глазах уважение и удивление.

– Кхм... я... Я только два раза делал, видите ли...

Зачем я солгал? Теперь мне это непонятно.

В больнице стихло. Совсем.

– Когда умрет, обязательно пришлите за мной, – вполголоса приказал я фельдшеру, и он почему-то вместо «хорошо» ответил почтительно:

– Слушаю-с...

Через несколько минут я был у зеленой лампы в кабинете докторской квартиры. Дом молчал.

Бледное лицо отражалось в чернейшем стекле.

«Нет, я не похож на Дмитрия Самозванца, и я, видите ли, постарел как-то... Складка над переносицей... Сейчас постучат... Скажут: “Умерла...”

Да, пойду и погляжу в последний раз... сейчас раздастся стук...»

* * *

В дверь постучали. Это было через два с половиной месяца. В окне сиял один из первых зимних дней.

Вошел он; я его разглядел только тогда. Да, действительно, черты лица правильные. Лет сорока пяти. Глаза искрятся.

Затем шелест... На двух костылях впрыгнула очаровательной красоты одноногая девушка в широчайшей юбке, обшитой по подолу красной каймой.

Она поглядела на меня, и щеки ее замело розовой краской.

– В Москве... В Москве... – И я стал писать адрес. – Там устроят протез, искусственную ногу.

– Руку поцелуй, – вдруг неожиданно сказал отец.

Я до того растерялся, что вместо губ поцеловал ее в нос.

Тогда она, обвисая на костылях, развернула сверток, и выпало длинное снежно-белое полотенце с безыскусственным красным вышитым петухом. Так вот что она прятала под подушку на осмотрах. То-то, я помню, нитки лежали на столике.

– Не возьму, – сурово сказал я и даже головой замотал. Но у нее стало такое лицо, такие глаза, что я взял...

И много лет оно висело у меня в спальне в Мурьине, потом странствовало со мной. Наконец, обветшало, стерлось, продырявилось и, наконец, исчезло, как стираются и исчезают воспоминания.

Крещение поворотом

Побежали дни в N-ской больнице, и я стал понемногу привыкать к новой жизни.

В деревнях по-прежнему мяли лен, дороги оставались непроезжими, и на приемах у меня бывало не больше пяти человек. Вечера были совершенно свободны, и я посвящал их разбору библиотеки, чтению учебников по хирургии и долгим одиноким чаепитиям у тихо поющего самовара.

Целыми днями и ночами лил дождь, и капли неумолчно стучали по крыше, и хлестала под окном вода, стекая по желобу в кадку. На дворе была слякоть, туман, черная мгла, в которой тусклыми, расплывчатыми пятнами светились окна фельдшерского домика и керосиновый фонарь у ворот.

В один из таких вечеров я сидел у себя в кабинете над атласом по топографической анатомии. Кругом была полная тишина, и только изредка грызня мышей в столовой за буфетом нарушала ее.

Я читал до тех пор, пока не начали слипаться отяжелевшие веки. Наконец зевнул, отложил в сторону атлас и решил ложиться. Потягиваясь и предвкушая мирный сон под шум и стук дождя, перешел в спальню, разделся и лег.

Не успел я коснуться подушки, как передо мной в сонной мгле всплыло лицо Анны Прохоровой, семнадцати лет, из деревни Торопово. Анне Прохоровой нужно было рвать зуб. Проплыл бесшумно фельдшер Демьян Лукич с блестящими щипцами в руках. Я вспомнил, как он говорит «таковой» вместо «такой» – из любви к высокому стилю, усмехнулся и заснул.

Однако не позже чем через полчаса я вдруг проснулся, словно кто-то дернул меня, сел и, испуганно всматриваясь в темноту, стал прислушиваться.

Кто-то настойчиво и громко барабанил в наружную дверь, и удары эти показались мне сразу зловещими.

В квартиру стучали.

Стук замолк, загремел засов, послышался голос кухарки, чей-то неясный голос в ответ, затем кто-то, скрипя, поднялся по лестнице, тихонько прошел кабинет и постучался в спальню.

– Кто там?

– Это я, – ответил мне почтительный шепот, – я, Аксиныя, сиделка.

– В чем дело?

– Анна Николаевна прислала за вами, велят вам, чтоб вы в больницу шли поскорей.

– А что случилось? – спросил я и почувствовал, как явственно екнуло сердце.

– Да женщину там привезли из Дульцева. Роды у ей неблагополучные.

«Вот оно. Началось! – мелькнуло у меня в голове, и я никак не мог попасть ногами в туфли. – А, черт! Спички не загораются. Что ж, рано или поздно это должно было случиться. Не всю же жизнь одни ларингиты да катары желудка».

– Хорошо. Иди, скажи, что я сейчас приду! – крикнул я и встал с постели. За дверью зашлепали шаги Аксиныи, и снова загремел засов. Сон соскочил мигом. Торопливо, дрожащими пальцами я зажег лампу и стал одеваться. Половина двенадцатого... Что там такое у этой женщины с неблагополучными родами? Гм... неправильное положение... узкий таз... Или, может быть, еще что-нибудь хуже. Чего доброго, щипцы придется накладывать. Отослать ее разве прямо в город? Да немыслимо это! Хорошенький доктор, нечего сказать, скажут все! Да и права не имею так сделать. Нет, уж нужно делать самому. А что делать? Черт его знает. Беда будет, если потеряюсь; перед акушерками срам. Впрочем, нужно сперва посмотреть, не стоит прежде времени волноваться...»

Я оделся, накинул пальто и, мысленно надеясь, что все обойдется благополучно, под дождем, по хлопающим досочкам побежал в больницу. В полутьме у входа виднелась телега, лошадь стукнула копытом в гнилые доски.

– Вы, что ль, привезли роженицу? – для чего-то спросил у фигуры, шевелившейся возле лошади.

– Мы... как же, мы, батюшка, – жалобно ответил бабий голос.

В больнице, несмотря на глухой час, было оживление и суета. В приемной, мигая, горела лампа-молния. В коридорчике, ведущем в родильное отделение, мимо меня прошмыгнула Аксинья с тазом. Из-за двери вдруг донесся слабый стон и замер. Я открыл дверь и вошел в родилку. Выбеленная небольшая комната была ярко освещена верхней лампой. Рядом с операционным столом на кровати, укрытая одеялом до подбородка, лежала молодая женщина. Лицо ее было искажено болезненной гримасой, а намокшие пряди волос прилипли ко лбу. Анна Николаевна, с градусником в руках, приготавливала раствор в эсмарховской кружке, а вторая акушерка, Пелагея Ивановна, доставала из шкафчика чистые простыни. Фельдшер, прислонившись к стене, стоял в позе Наполеона. Увидев меня, все встреपнулись. Роженица открыла глаза, заломила руки и вновь застонала жалобно и тяжело.

– Ну-с, что такое? – спросил я и сам подивился своему тону, настолько он был уверен и спокоен.

– Поперечное положение, – быстро ответила Анна Николаевна, продолжая подливать воду в раствор.

– Та-ак, – протянул я, нахмурясь, – что ж, посмотрим...

– Руки доктору мыть! Аксинья! – тотчас крикнула Анна Николаевна. Лицо ее было торжественно и серьезно.

Пока стекала вода, смывая пену с покрасневших от щетки рук, я задавал Анне Николаевне незначительные вопросы, вроде того, давно ли привезли роженицу, откуда она... Рука Пелагеи Ивановны откинула одеяло, и я, присев на край кровати, тихонько касаясь, стал ощупывать вздувшийся живот. Женщина стонала, вытягивалась, впивалась пальцами, комкала простыню.

– Тихонько, тихонько... потерпи, – говорил я, осторожно прикладывая руки к растянутой жаркой и сухой коже.

Собственно говоря, после того как опытная Анна Николаевна подсказала мне, в чем дело, исследование это было ни к чему не нужно. Сколько бы я ни исследовал, больше Анны Николаевны я все равно бы не узнал. Диагноз ее, конечно, был верный. Поперечное положение. Диагноз налицо. Ну, а дальше?..

Хмурясь, я продолжал ощупывать со всех сторон живот и искоса поглядывал на лица акушеров. Обе они были сосредоточенно серьезны, и в глазах их я прочитал одобрение моим действиям. Действительно, движения мои были уверенны и правильны, а беспокойство свое я постарался спрятать как можно глубже и ничем его не проявлять.

– Так, – вздохнув, сказал я и приподнялся с кровати, так как смотреть снаружи было больше нечего, – исследуем изнутри.

Одобрение опять мелькнуло в глазах Анны Николаевны.

– Аксинья!

Опять полилась вода.

«Эх, Додерляйна бы сейчас почитать!» – тоскливо думал я, намыливая руки. Увы, сделать это сейчас было невозможно. Да и чем бы помог мне в этот момент Додерляйн? Я смыл густую пену, смазал пальцы йодом. Зашуршала чистая простыня под руками Пелагеи Ивановны, и, склонившись к роженице, я стал осторожно и робко производить внутреннее исследование. В памяти у меня невольно всплыла картина операционной в акушерской клинике. Яркие горящие электрические лампы в матовых шарах, блестящий плиточный пол, всюду сверкающие краны

и приборы. Ассистент в снежно-белом халате манипулирует над роженицей, а вокруг него три помощника-ординатора, врачи-практиканты, толпа студентов-кураторов. Хорошо, светло и безопасно.

Здесь же я – один-одинешенек, под руками у меня мучающаяся женщина; за нее я отвечаю. Но как ей нужно помогать, я не знаю, потому что вблизи роды видел только два раза в своей жизни в клинике, и те были совершенно нормальны. Сейчас я делаю исследование, но от этого не легче ни мне, ни роженице; я ровно ничего не понимаю и не могу прощупать там у нее внутри.

А пора уже на что-нибудь решиться.

– Поперечное положение... раз поперечное положение, значит, нужно... нужно делать...

– Поворот на ножку, – не утерпела и словно про себя заметила Анна Николаевна.

Старый, опытный врач покосился бы на нее за то, что она суется вперед со своими заключениями... Я же человек необидчивый...

– Да, – многозначительно подтвердил я, – поворот на ножку.

И перед глазами у меня замелькали страницы Додерляйна. Поворот прямой... поворот комбинированный... поворот не прямой...

Страницы, страницы... А на них рисунки. Таз, искривленные, сдавленные младенцы с огромными головами... свисающая ручка, на ней петля.

И ведь недавно еще читал. И еще подчеркивал, внимательно вдумываясь в каждое слово, мысленно представляя себе соотношение частей и все приемы. И при чтении казалось, что весь текст отпечатывается навеки в мозгу.

А теперь только и всплывает из всего прочитанного одна фраза:

«Поперечное положение есть абсолютно неблагоприятное положение».

Что правда, то правда. Абсолютно неблагоприятное как для самой женщины, так и для врача, шесть месяцев тому назад окончившего университет.

– Что ж... будем делать, – сказал я, приподнимаясь.

Лицо у Анны Николаевны оживилось.

– Демьян Лукич, – обратилась она к фельдшеру, – приготовляйте хлороформ.

Прекрасно, что сказала, а то ведь я еще не был уверен, под наркозом ли делается операция! Да, конечно, под наркозом – как же иначе!

Но все-таки Додерляйна надо просмотреть...

И я, обмыв руки, сказал:

– Ну-с, хорошо... вы готовьте для наркоза, укладывайте ее, а я сейчас приду, возьму только папиросы дома.

– Хорошо, доктор, успеется, – ответила Анна Николаевна.

Я вытер руки, сиделка набросила мне на плечи пальто, и, не надевая его в рукава, я побежал домой.

Дома в кабинете я зажег лампу и, забыв снять шапку, кинулся к книжному шкафу.

Вот он – Додерляйн. «Оперативное акушерство». Я торопливо стал шелестеть глянцевиными страничками.

«...поворот всегда представляет опасную для матери операцию...»

Холодок прополз у меня по спине, вдоль позвоночника.

«...Главная опасность заключается в возможности самопроизвольного разрыва матки».

Само-про-из-воль-но-го...

«...Если акушер при введении руки в матку, вследствие недостатка простора или под влиянием сокращения стенок матки, встречает затруднения

к тому, чтобы проникнуть к ножке, то он должен отказаться от дальнейших попыток к выполнению поворота...»

Хорошо. Если я сумею даже каким-нибудь чудом определить эти «затруднения» и откажусь от «дальнейших попыток», что, спрашивается, я буду делать с захлороформированной женщиной из деревни Дульцево?

Дальше:

«...Совершенно воспрещается пытаться проникнуть к ножкам вдоль спинки плода...»

Примем к сведению.

«...Захватывание верхней ножки следует считать ошибкой, так как при этом легко может получиться осевое перекручивание плода, которое может дать повод к тяжелому вколачиванию плода и, вследствие этого, к самым печальным последствиям...»

«Печальным последствиям». Немного неопределенные, но какие внушительные слова! А что, если муж дульцевской женщины останется вдовцом? Я вытер испарину на лбу, собрался с силой и, минуя все эти страшные места, постарался запомнить только самое существенное: что, собственно, я должен делать, как и куда вводить руку. Но, пробегая черные строчки, я все время наталкивался на новые страшные вещи. Они били в глаза.

«...ввиду огромной опасности разрыва... внутренний и комбинированный повороты представляют операции, которые должны быть отнесены к опаснейшим для матери акушерским операциям...»

И в виде заключительного аккорда:

«...С каждым часом промедления возрастает опасность...»

Довольно! Чтение принесло свои плоды: в голове у меня все спуталось окончательно, и я мгновенно убедился, что я не понимаю ничего, и прежде всего, какой, собственно, поворот я буду делать: комбинированный, некомбинированный, прямой, не прямой!..

Я бросил Додерляйна и опустился в кресло, силясь привести в порядок разбегающиеся мысли... Потом глянул на часы. Черт! Оказывается, я уже двенадцать минут дома. А там ждут.

«...С каждым часом промедления...»

Часы состояются из минут, а минуты в таких случаях летят бешено. Я швырнул Додерляйна и побежал обратно в больницу.

Там все уже было готово. Фельдшер стоял у столика, приготавливая на нем маску и склянку с хлороформом. Роженица уже лежала на операционном столе. Непрерывный стон разносился по больнице.

– Терпи, терпи, – ласково бормотала Пелагея Ивановна, наклоняясь к женщине, – доктор сейчас тебе поможет...

– О-ой! Моченьки... нет... Нет моей моченьки!.. Я не вытерплю!

– Небось... небось... – бормотала акушерка, – вытерпишь! Сейчас понюхать тебе дадим... Ничего и не услышишь.

Из кранов с шумом потекла вода, и мы с Анной Николаевной стали чистить и мыть обнаженные по локоть руки. Анна Николаевна под стон и вопли рассказывала мне, как мой предшественник – опытный хирург – делал повороты. Я жадно слушал ее, стараясь не проронить ни слова. И эти десять минут дали мне больше, чем все то, что я прочел по акушерству к государственным экзаменам, на которых именно по акушерству я получил «весьма». Из отрывочных

слов, неоконченных фраз, мимоходом брошенных намеков я узнал то самое необходимое, чего не бывает ни в каких книгах. И к тому времени, когда стерильной марлей я начал вытирать идеальной белизны и чистоты руки, решимость овладела мной и в голове у меня был совершенно определенный и твердый план. Комбинированный там или некомбинированный, сейчас мне об этом и думать не нужно.

Все эти ученые слова ни к чему в этот момент. Важно одно: я должен ввести одну руку внутрь, другой рукой снаружи помогать повороту и, полагаясь не на книги, а на чувство меры, без которого врач никуда не годится, осторожно, но настойчиво низвести одну ножку и за нее извлечь младенца.

Я должен быть спокоен и осторожен и в то же время безгранично решителен, нетруслив.

– Давайте, – приказал я фельдшеру и начал смазывать пальцы йодом.

Пелагея Ивановна тотчас же сложила руки роженицы, а фельдшер закрыл маской ее измученное лицо. Из темно-желтой склянки медленно начал капать хлороформ. Сладкий и тошный запах начал наполнять комнату. Лица у фельдшера и акушерок стали строгими, как будто вдохновенными...

– Га-а! А!! – вдруг выкрикнула женщина. Несколько секунд она судорожно рвалась, стараясь сбросить маску.

– Держите!

Пелагея Ивановна схватила ее за руки, уложила и прижала к груди. Еще несколько раз выкрикнула женщина, отворачивая от маски лицо. Но реже... реже... Глухо забормотала:

– Га-а... пусти!.. а!..

Потом все слабее, слабее. В белой комнате наступила тишина. Прозрачные капли все падали и падали на белую марлю.

– Пелагея Ивановна, пульс?

– Хорош.

Пелагея Ивановна приподняла руку женщины и выпустила; та безжизненно, как плоть, шлепнулась о простыни. Фельдшер, сдвинув маску, посмотрел зрачок.

– Спит.

.....

Лужа крови. Мои руки по локоть в крови. Кровяные пятна на простынях. Красные сгустки и комки марли. А Пелагея Ивановна уже встряхивает младенца и похлопывает его. Аксиныя гремит ведрами, наливая в тазы воду. Младенца погружают то в холодную, то в горячую воду. Он молчит, и голова его безжизненно, словно на ниточке, болтается из стороны в сторону. Но вот вдруг не то скрип, не то вздох, а за ним слабый, хриплый первый крик.

– Жив... жив... – бормочет Пелагея Ивановна и укладывает младенца на подушку.

И мать жива. Ничего страшного, по счастью, не случилось. Вот я сам ощупываю пульс. Да, он ровный и четкий, и фельдшер тихонько трясет женщину за плечо и говорит:

– Ну, тетя, тетя, просыпайся.

Отбрасывают в сторону окровавленные простыни и торопливо закрывают мать чистой, и фельдшер с Аксиной уносят ее в палату. Спеленутый младенец уезжает на подушке. Сморщенное коричневое личико глядит из белого ободка, и не прерывается тоненький, плаксивый писк.

Вода бежит из кранов умывальников. Анна Николаевна жадно затягивается папироской, щурится от дыма, кашляет.

– А вы, доктор, хорошо сделали поворот, уверенно так.

Я усердно тру щеткой руки, искоса взглядываю на нее: не смеется ли? Но на лице у нее искреннее выражение горделивого удовольствия. Сердце мое полно радостью. Я гляжу на кровавый и белый беспорядок кругом, на красную воду в тазу и чувствую себя победителем. Но в глубине где-то шевелится червяк сомнения.

– Посмотрим еще, что будет дальше, – говорю я.

Анна Николаевна удивленно вскидывает на меня глаза.

– Что же может быть? Все благополучно.

Я неопределенно бормочу что-то в ответ. Мне, собственно говоря, хочется сказать вот что: все ли там цело у матери, не повредил ли я ей во время операции... Это-то смутно терзает мое сердце. Но мои знания в акушерстве так неясны, так книжно отрывочны! Разрыв? А в чем он должен выразиться? И когда он даст знать о себе – сейчас же или, быть может, позже?... Нет, уж лучше не заговаривать на эту тему.

– Ну, мало ли что, – говорю я, – не исключена возможность заражения, – повторяю я первую попавшуюся фразу из какого-то учебника.

– Ах, э-это! – спокойно тянет Анна Николаевна. – Ну, даст Бог, ничего не будет. Да и откуда? Все стерильно, чисто.

* * *

Было начало второго, когда я вернулся к себе. На столе в кабинете в пятне света от лампы мирно лежал раскрытый на странице «Опасности поворота» Додерляйн. С час еще, глотая простывший чай, я сидел над ним, перелистывая страницы. И тут произошла интересная вещь: все прежние темные места сделались совершенно понятными, словно налились светом, и здесь, при свете лампы, ночью, в глуши, я понял, что значит настоящее знание.

«Большой опыт можно приобрести в деревне, – думал я, засыпая, – но только нужно читать, читать, побольше... читать...»

Стальное горло

Итак, я остался один. Вокруг меня – ноябрьская тьма с вертящимся снегом, дом завалило, в трубах завывало. Все двадцать четыре года моей жизни я прожил в громадном городе и думал, что вьюга воет только в романах. Оказалось: она воет на самом деле. Вечера здесь необыкновенно длинны, лампа под синим абажуром отражалась в черном окне, и я мечтал, глядя на пятно, светящееся на левой руке у меня. Мечтал об уездном городе – он находился в сорока верстах от меня. Мне очень хотелось убежать с моего пункта туда. Там было электричество, четыре врача, с ними можно было посоветоваться, во всяком случае, не так страшно. Но убежать не было никакой возможности, да временами я и сам понимал, что это малодушие. Ведь именно для этого я учился на медицинском факультете...

«...Ну, а если привезут женщину и у нее неправильные роды? Или, предположим, больного, а у него ущемленная грыжа? Что я буду делать? Посоветуйте, будьте добры. Сорок восемь дней тому назад я кончил факультет с отличием, но отличие само по себе, а грыжа сама по себе. Один раз я видел, как профессор делал операцию ущемленной грыжи. Он делал, а я сидел в амфитеатре. И только...»

Холодный пот неоднократно стекал у меня вдоль позвоночного столба при мысли о грыже. Каждый вечер я сидел в одной и той же позе, напившись чаю: под левой рукой у меня лежали все руководства по оперативному акушерству, сверху маленький Додерляйн. А справа десять различных томов по оперативной хирургии, с рисунками. Я кряхтел, курил, пил черный холодный чай...

И вот я заснул; отлично помню эту ночь – 29 ноября, я проснулся от грохота в двери. Минут пять спустя я, надевая брюки, не сводил молящих глаз с божественных книг оперативной хирургии. Я слышал скрип полозьев во дворе: уши мои стали необычайно чуткими. Вышло, пожалуй, еще страшнее, чем грыжа, чем поперечное положение младенца: привезли ко мне в Никольский пункт-больницу в одиннадцать часов ночи девочку. Сиделка глухо сказала: – Слабая девочка, помирает... Пожалуйте, доктор, в больницу...

Помню, я пересек двор, шел на керосиновый фонарь у подъезда больницы, как зачарованный смотрел, как он мигает. Приемная уже была освещена, и весь состав моих помощников ждал меня уже одетый и в халатах. Это были: фельдшер Демьян Лукич, молодой еще, но очень способный человек; и две опытных акушерки – Анна Николаевна и Пелагея Ивановна. Я же был всего лишь двадцатичетырехлетним врачом, два месяца назад выпущенным и назначенным заведовать Никольской больницей.

Фельдшер распахнул торжественно дверь, и появилась мать. Она как бы влетела, скользя в валенках, и снег еще не стоял у нее на платке. В руках у нее был сверток, и он мерно шипел, свистел. Лицо у матери было искажено, она беззвучно плакала. Когда она сбросила свой тулуп и платок и распутала сверток, я увидел девочку лет трех. Я посмотрел на нее и забыл на время оперативную хирургию, одиночество, мой негодный университетский груз, забыл все решительно из-за красоты девочки. С чем бы ее сравнить? Только на конфетных коробках рисуют таких детей – волосы сами от природы выются в крупные кольца цвета спелой ржи. Глаза синие, громаднейшие, щеки кукольные. Ангелов так рисовали. Но только странная муть гнездилась на дне ее глаз, и я понял, что это страх, – ей нечем было дышать. «Она умрет через час», – подумал я совершенно уверенно, и сердце мое болезненно сжалось...

Ямки втягивались в горле у девочки при каждом дыхании, жилы надувались, а лицо отличало из розоватого в легонький лиловатый цвет. Эту расцветку я сразу понял и оценил. Я тут же сообразил, в чем дело, и первый мой диагноз поставил совершенно правильно и, главное, одновременно с акушерками – они-то были опытны: «У девочки дифтерийный круп, горло уже забито пленками и скоро закроется наглухо...»

– Сколько дней девочка больна? – спросил я среди насторожившегося молчания моего персонала.

– Пятый день, пятый, – сказала мать и сухими глазами глубоко посмотрела на меня.

– Дифтерийный круп, – сквозь зубы сказал я фельдшеру, а матери сказал: – Ты о чем же думала? О чем думала?

И в это время раздался сзади меня плаксивый голос:

– Пятый, батюшка, пятый!

Я обернулся и увидел бесшумную, круглолицую бабку в платке. «Хорошо было бы, если б бабок этих вообще на свете не было», – подумал я в тоскливом предчувствии опасности и сказал:

– Ты, бабка, замолчи, мешаешь. – Матери же повторил: – О чем ты думала? Пять дней? А?

Мать вдруг автоматическим движением передала девочку бабке и стала передо мною на колени.

– Дай ей капель, – сказала она и стукнулась лбом в пол, – удавлюсь я, если она помрет.

– Встань сию же минуточку, – ответил я, – а то я с тобой и разговаривать не стану.

Мать быстро встала, прошелестев широкой юбкой, приняла девчонку у бабки и стала качать. Бабка начала молиться на косяк, а девочка все дышала со змеиным свистом. Фельдшер сказал:

– Так они все делают. На-род, – усы у него при этом скривились набок.

– Что ж, значит, помрет она? – глядя на меня, как мне показалось, с черной яростью, спросила мать.

– Помрет, – негромко и твердо сказал я.

Бабка тотчас завернула подол и стала им вытирать глаза. Мать же крикнула мне нехорошим голосом:

– Дай ей, помоги! Капель дай!

Я ясно видел, что меня ждет, и был тверд.

– Каких же я капель дам? Посоветуй. Девочка задыхается, горло ей уже забило. Ты пять дней морила девчонку в пятнадцати верстах от меня. А теперь что прикажешь делать?

– Тебе лучше знать, батюшка, – заныла у меня на левом плече бабка искусственным голосом, и я ее сразу возненавидел.

– Замолчи! – сказал ей. И, обратившись к фельдшеру, приказал взять девочку. Мать подала акушерке девочку, которая стала биться и хотела, видимо, кричать, но у нее не выходил уже голос. Мать хотела ее защитить, но мы ее отстранили, и мне удалось заглянуть при свете лампы-молнии девочке в горло. Я никогда до тех пор не видел дифтерита, кроме легких и быстро забывшихся случаев. В горле было что-то клокочущее, белое, рваное. Девочка вдруг выдохнула и плюнула мне в лицо, но я почему-то не испугался за глаза, занятый своей мыслью.

– Вот что, – сказал я, удивляясь собственному спокойствию, – дело такое. Поздно. Девочка умирает. И ничто ей не поможет, кроме одного – операции.

И сам ужаснулся, зачем сказал, но не сказать не мог. «А если они согласятся?» – мелькнула у меня мысль.

– Как это? – спросила мать.

– Нужно будет горло разрезать пониже и серебряную трубку вставить, дать девочке возможность дышать, тогда, может быть, спасем ее, – объяснил я.

Мать посмотрела на меня, как на безумного, и девочку от меня заслонила руками, а бабка снова забубнила:

– Что ты! Не давай резать! Что ты? Горло-то?!

– Уйди, бабка! – с ненавистью сказал я ей. – Камфару впрысните! – приказал я фельдшеру.

Мать не давала девочку, когда увидела шприц, но мы ей объяснили, что это не страшно.

– Может, это ей поможет? – спросила мать.

– Нисколько не поможет.

Тогда мать зарыдала.

– Перестань, – промолвил я. Вынул часы и добавил: – Пять минут даю думать. Если не согласитесь после пяти минут, сам уже не возьмусь делать.

– Не согласна! – резко сказала мать.

– Нет нашего согласия! – добавила бабка.

– Ну, как хотите, – глухо добавил я и подумал: «Ну, вот и все! Мне легче. Я сказал, предложил, вон у акушеров изумленные глаза. Они отказались, и я спасен». И только что подумал, как другой кто-то за меня чужим голосом вымолвил:

– Что вы, с ума сошли? Как это так не согласны? Губите девочку. Соглашайтесь. Как вам не жаль?

– Нет! – снова крикнула мать.

Внутри себя я думал так: «Что я делаю? Ведь я же зарежу девочку». А говорил иное:

– Ну, скорей, скорей, соглашайтесь! Соглашайтесь! Ведь у нее уже ногти синеют.

– Нет! Нет!

– Ну, что же, уведите их в палату, пусть там сидят.

Их увели через полутемный коридор. Я слышал плач женщин и свист девочки. Фельдшер тотчас же вернулся и сказал:

– Соглашаются!

Внутри у меня все окаменело, но выговорил я ясно:

– Стерилизуйте немедленно нож, ножницы, крючки, зонд!

Через минуту я перебежал двор, где, как бес, летала и шаркала метель, прибежал к себе и, считая минуты, ухватился за книгу, перелистал ее, нашел рисунок, изображающий трахеотомию. На нем все было ясно и просто: горло раскрыто, нож вонзен в дыхательное горло. Я стал читать текст, но ничего не понимал, слова как-то прыгали в глазах. Я никогда не видел, как делают трахеотомию. «Э, теперь уж поздно», – подумал я, взглянул с тоской на синий цвет, на яркий рисунок, почувствовал, что свалилось на меня трудное, страшное дело, и вернулся, не заметив вьюги, в больницу.

В приемной тень с круглыми юбками прилипла ко мне, и голос занял:

– Батюшка, как же так, горло девчонке резать? Да разве же это мыслимо? Она, глупая баба, согласилась. А моего согласия нету, нету. Каплями согласна лечить, а горло резать не дам.

– Бабку эту вон! – закричал я и в запальчивости добавил: – Ты сама глупая баба! Сама! А та именно умная! И вообще никто тебя не спрашивает! Вон ее!

Акушерка цепко обняла бабку и вытолкнула ее из палаты.

– Готово! – вдруг сказал фельдшер.

Мы вошли в малую операционную, и я, как сквозь завесу, увидел блестящие инструменты, ослепительную лампу, клеенку... В последний раз я вышел к матери, из рук которой девочку еле вырвали. Я услышал лишь хриплый голос, который говорил: «Мужа нет. Он в горodu. Придет, узнает, что я наделала, – убьет меня!»

– Убьет, – повторила бабка, глядя на меня в ужасе.

– В операционную их не пускать! – приказал я.

Мы остались одни в операционной. Персонал, я и Лидка – девочка. Она, голенькая, сидела на столе и беззвучно плакала. Ее повалили на стол, прижали, горло ее вымыли, смазали йодом, и я взял нож, при этом подумал: «Что я делаю?» Было очень тихо в операционной. Я взял нож и провел вертикально черту по пухлому белому горлу. Не выступило ни одной капли крови. Я второй раз провел ножом по белой полоске, которая выступила меж раздавленной кожей. Опять ни кровинки. Медленно, стараясь вспомнить какие-то рисунки в атласах, я стал при помощи тупого зонда разделять тоненькие ткани. И тогда внизу раны откуда-то хлынула

темная кровь и мгновенно залила всю рану и потекла по шее. Фельдшер тампонами стал вытирать ее, но она не унималась. Вспоминая все, что я видел в университете, я пинцетами стал зажимать края раны, но ничего не выходило. Мне стало холодно, и лоб мой намок. Я остро пожалел, зачем пошел на медицинский факультет, зачем попал в эту глушь. В злобном отчаянии я сунул пинцет наобум, куда-то близ раны, защелкнул его, и кровь тотчас же перестала течь. Рану мы отсосали комками марли; она предстала предо мной чистой и абсолютно непонятной. Никакого дыхательного горла нигде не было. Ни на какой рисунок не походила моя рана. Еще прошло минуты две-три, во время которых я совершенно механически и бестолково ковырял в ране то ножом, то зондом, ища дыхательное горло. И к концу второй минуты я отчаялся его найти. «Конец, – подумал я, – зачем я это сделал? Ведь мог же я не предлагать операцию, и Лидка спокойно умерла бы у меня в палате, а теперь она умрет с разорванным горлом, и никогда, ничем я не докажу, что она все равно умерла бы, что я не мог повредить ей...» Акушерка молча вытерла мой лоб. «Положить нож, сказать: не знаю, что дальше делать», – так подумал я, и мне представились глаза матери. Я снова поднял нож и бессмысленно, глубоко и резко полоснул Лидку. Ткани разъехались, и неожиданно передо мной оказалось дыхательное горло.

– Крючки! – сипло бросил я.

Фельдшер подал их. Я вонзил один крючок с одной стороны, другой – с другой и один из них передал фельдшеру. Теперь я видел только одно: сероватые колечки горла. Острый нож я вколол в горло – и обмер. Горло поднялось из раны, фельдшер, как мелькнуло у меня в голове, сошел с ума: он вдруг стал выдирать его вон. Ахнули за спиной у меня обе акушерки. Я поднял глаза и понял, в чем дело: фельдшер, оказывается, стал падать в обморок от духоты и, не выпуская крючка, рвал дыхательное горло. «Всё против меня, судьба, – подумал я, – теперь уж, несомненно, зарезали мы Лидку, – и мысленно строго добавил: – Только дойду домой – и застрелюсь...» Тут старшая акушерка, видимо, очень опытная, как-то хищно рванулась к фельдшеру и перехватила у него крючок, причем сказала, стиснув зубы:

– Продолжайте, доктор...

Фельдшер со стуком упал, ударился, но мы не глядели на него. Я вколол нож в горло, затем серебряную трубку вложил в него. Она ловко вскользнула, но Лидка осталась недвижимой. Воздух не вошел к ней в горло, как это нужно было. Я глубоко вздохнул и остановился: больше делать мне было нечего. Мне хотелось у кого-то попросить прощенья, покаяться в своем легкомыслии, в том, что я поступил на медицинский факультет. Стояло молчание. Я видел, как Лидка синела. Я хотел уже все бросить и заплакать; как вдруг Лидка дико содрогнулась, фонтаном выкинула дрянные сгустки сквозь трубку, и воздух со свистом вошел к ней в горло; потом девочка задышала и стала реветь. Фельдшер в это мгновение привстал, бледный и потный, тупо и в ужасе поглядел на горло и стал помогать мне его зашивать.

Сквозь сон и пелену пота, застилавшую мне глаза, я видел счастливые лица акушерок, и одна из них мне сказала:

– Ну и блестяще же вы сделали, доктор, операцию.

Я подумал, что она смеется надо мной, и мрачно, исподлобья глянул на нее. Потом запахнулись двери, повеяло свежестью. Лидку вынесли в простыне, и сразу же в дверях показалась мать. Глаза у нее были как у дикого зверя. Она спросила меня:

– Что?

Когда я услышал звук ее голоса, пот потек у меня по спине, я только тогда сообразил, что было бы, если бы Лидка умерла на столе. Но голосом очень спокойным я ей ответил:

– Будь поспокойнее. Жива. Будет, надеюсь, жива. Только, пока трубку не вынем, ни слова не будет говорить, так не бойтесь.

И тут бабка выросла из-под земли и перекрестилась на дверную ручку, на меня, на потолок. Но я уж не рассердился на нее. Повернулся, приказал Лидке впрыснуть камфару и по

очереди дежурить возле нее. Затем ушел к себе через двор. Помню, синий свет горел у меня в кабинете, лежал Додерляйн, валялись книги. Я подошел к дивану одетый, лег на него и сейчас же перестал видеть что бы то ни было; заснул и даже снов не видел.

Прошел месяц, другой. Много я уже перевидал, и было уже кое-что страшнее Лидкиного горла. Я про него и забыл. Кругом был снег, прием увеличивался с каждым днем. И как-то, в новом уже году, вошла ко мне в приемную женщина и ввела за ручку закутанную, как тумбочка, девочку. Женщина сияла глазами. Я всмотрелся – узнал.

– А, Лидка! Ну, что?

– Да хорошо все.

Лидке распутали горло. Она дичилась и боялась, но все же мне удалось поднять подбородок и заглянуть. На розовой шее был вертикальный коричневый шрам и два тоненьких поперечных от швов.

– Всё в порядке, – сказал я, – можете больше не приезжать.

– Благодарю вас, доктор, спасибо, – сказала мать, а Лидке велела: – Скажи дяденьке спасибо!

Но Лидка не желала мне ничего говорить.

Больше я никогда в жизни ее не видел. Я стал забывать ее. А прием мой все возрастал. Вот настал день, когда я принял сто десять человек. Мы начали в девять часов утра и кончили в восемь часов вечера. Я, пошатываясь, снимал халат. Старшая акушерка-фельдшерица сказала мне:

– За такой прием благодарите трахеотомию. Вы знаете, что в деревнях говорят? Будто вы больной Лидке вместо ее горла вставили стальное и зашили. Специально ездят в эту деревню глядеть на нее. Вот вам и слава, доктор, поздравляю.

– Так и живет со стальным? – осведомился я.

– Так и живет. Ну, а вы, доктор, молодец. И хладнокровно как делаете, прелесть!

– М-да... Я, знаете ли, никогда не волнуюсь, – сказал я неизвестно зачем, но почувствовал, что от усталости даже устыдиться не могу, только глаза отвел в сторону. Попрощался и ушел к себе. Крупный снег шел, все застилая, фонарь горел, и дом мой был одинок, спокоен и важен. И я, когда шел, хотел одного – спать.

Вьюга

*То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя.*

Вся эта история началась с того, что, по словам всезнающей Аксины, конторщик Пальчиков, проживающий в Шалометьеве, влюбился в дочь агронома. Любовь была пламенная, иссушающая беднягино сердце. Он съездил в уездный город Грачевку и заказал себе костюм. Вышел этот костюм ослепительным, и очень возможно, что серые полосы на конторских штанах решили судьбу несчастного человека. Дочка агронома согласилась стать его женой.

Я же – врач N-ской больницы, участка, такой-то губернии, после того как отнял ногу у девушки, попавшей в мялку для льна, прославился настолько, что под тяжестью своей славы чуть не погиб. Ко мне на прием по накатанному санному пути стали ездить сто человек крестьян в день. Я перестал обедать. Арифметика – жестокая наука. Предположим, что на каждого из ста моих пациентов я тратил только по пять минут... пять! Пятьсот минут – восемь часов двадцать минут. Подряд, заметьте. И, кроме того, у меня было стационарное отделение на тридцать человек. И, кроме того, я ведь делал операции.

Одним словом, возвращаясь из больницы в девять часов вечера, я не хотел ни есть, ни пить, ни спать. Ничего не хотел, кроме того, чтобы никто не приехал звать меня на роды. И в течение двух недель по санному пути меня ночью увозили раз пять.

Темная влажность появилась у меня в глазах, а над переносицей легла вертикальная складка, как червяк. Ночью я видел в зыбком тумане неудачные операции, обнаженные ребра, а руки свои в человеческой крови и просыпался, липкий и прохладный, несмотря на жаркую печку-голландку.

На обходе я шел стремительной поступью, за мною мело фельдшера, фельдшерицу и двух сиделок. Останавливаясь у постели, на которой, тая в жару и жалобно дыша, болел человек, я выжимал из своего мозга все, что в нем было. Пальцы мои шарили по сухой, пылающей коже, я смотрел в зрачки, постукивал по ребрам, слушал, как таинственно бьет в глубине сердце, и нес в себе одну мысль – как его спасти? И этого – спасти. И этого! Всех!

Шел бой. Каждый день он начинался утром при бледном свете снега, а кончался при желтом мигании пылкой лампы-молнии.

«Чем это кончится, мне интересно было бы знать? – говорил я сам себе ночью. – Ведь этак будут ездить на санях и в январе, и в феврале, и в марте».

Я написал в Грачевку и вежливо напомнил о том, что на N-ском участке полагается и второй врач.

Письмо на дровнях уехало по ровному снежному океану за сорок верст. Через три дня пришел ответ: писали, что, конечно, конечно... Обязательно... но только не сейчас... никто пока не едет...

Заклучали письмо некоторые приятные отзывы о моей работе и пожелания дальнейших успехов.

Окрыленный ими, я стал тампонировать, впрыскивать дифтерийную сыворотку, вскрывать чудовищных размеров гнойники, накладывать гипсовые повязки...

Во вторник приехало не сто, а сто одиннадцать человек. Прием я кончил в девять часов вечера. Заснул я, стараясь угадать, сколько будет завтра – в среду? Мне приснилось, что приехало девятьсот человек.

Утро заглянуло в окошко спальни как-то особенно бело. Я открыл глаза, не понимая, что меня разбудило. Потом сообразил – стук.

– Доктор, – узнал голос акушерки Пелагеи Ивановны, – вы проснулись?

– Угу, – ответил я диким голосом спросонья.

– Я пришла вам сказать, чтоб вы не спешили в больницу. Два человека всего приехало.

– Вы – что? Шутите?

– Честное слово. Выюга, доктор, выюга, – повторила она радостно в замочную скважину. – А у этих зубы кариозные. Демьян Лукич вырвет.

– Да ну... – Я даже с постели соскочил неизвестно почему.

Замечательный выдался денек. Побывав на обходе, я целый день ходил по своим апартаментам (квартира врачу была отведена в шесть комнат, и почему-то двухэтажная – три комнаты вверх, а кухня и три вниз), свистел из опер, курил, барабанил в окна... А за окнами творилось что-то, мною еще никогда не виданное. Неба не было, земли тоже. Вертело и крутило белым и косо и криво, вдоль и поперек, словно черт зубным порошком баловался.

В полдень отдан был мною Аксинье – исполняющей обязанности кухарки и уборщицы при докторской квартире – приказ: в трех ведрах и в котле вскипятить воды. Я месяц не мылся.

Мною с Аксиньей было из кладовки извлечено невероятных размеров корыто. Его установили на полу в кухне (о ваннах, конечно, и разговора в Н-ске быть не могло. Были ванны только в самой больнице – и те испорченные).

Около двух часов вертящаяся сетка за окном значительно поредела, а я сидел в корыте голый и с намыленной головой.

– Эт-то я понимаю... – сладостно бормотал я, выплескивая себе на спину жгучую воду, – эт-то я понимаю! А потом мы, знаете ли, пообедаем, а потом заснем. А если я выплюсь, то пусть завтра хоть полтора человека приезжает. Какие новости, Аксинья?

Аксинья сидела за дверью в ожидании, пока кончится банная операция.

– Конторщик в Шалометьевом имении женится, – отвечала Аксинья.

– Да ну! Согласилась?

– Ей-богу! Влюбле-ен... – пела Аксинья, погромыхая посудой.

– Невеста-то красивая?

– Первая красавица! Блондинка, тоненькая...

– Скажи пожалуйста!

И в это время грохнуло в дверь. Я хмуро облил себя водой и стал прислушиваться.

– Доктор-то купается... – выпевала Аксинья.

– Бур... бур... – бурчал бас.

– Записка вам, доктор, – пискнула Аксинья в скважину.

– Протяни в дверь.

Я вылез из корыта, пожимаясь и негодуя на судьбу, и взял из рук Аксиньи сыроватый конвертик.

– Ну, дудки. Я не поеду из корыта. Я ведь тоже человек, – не очень уверенно сказал я себе и в корыте распечатал записку.

Уважаемый коллега (большой восклицательный знак). Умол (зачеркнуто) прошу убедительно приехать срочно. У женщины после удара головой кровотечение из полост (зачеркнуто) из носа и рта. Без сознания. Справиться не могу. Убедительно прошу. Лошади отличные. Пульс плох. Камфара есть. Доктор (подпись неразборчива).

«Мне в жизни не везет», – тоскливо подумал я, глядя на жаркие дрова в печке.

– Мужчина записку привез?

– Мужчина.

– Сюда пусть войдет.

Он вошел и показался мне древним римлянином вследствие блистательной каски, надетой поверх ушастой шапочки. Волчья шуба облекала его, и струйка холода ударила в меня.

- Почему вы в каске? – спросил я, прикрывая свое немытое тело простыней.
- Пожарный я из Шалометьева. Там у нас пожарная команда... – ответил римлянин.
- Это какой доктор пишет?
- В гости к нашему агроному приехал. Молодой врач. Несчастье у нас, вот уж несчастье...
- Какая женщина?
- Невеста конторщика.
- Аксинья за дверью охнула.
- Что случилось? (Слышно было, как тело Аксиньи прилипло к двери.)
- Вчера помолвка была, а после помолвки-то конторщик покатасть ее захотел в саночках.

Рысачка запрег, усадил ее, да в ворота. А рысачок-то с места как взял, невесту-то мотнуло да лбом об косяк. Так она и вылетела. Такое несчастье, что выразить невозможно... За конторщиком ходят, чтоб не удавился. Обезумел.

– Купаюсь я, – жалобно сказал я, – ее сюда-то чего же не привезли? – И при этом я облил водой голову, и мыло ушло в корыто.

– Немыслимо, уважаемый гражданин доктор, – прочувственно сказал пожарный и руки молитвенно сложил, – никакой возможности. Помрет девушка.

– Как же мы поедем-то? Вьюга!

– Утихло. Что вы-с. Совершенно утихло. Лошади резвые, гуськом. В час долетим...

Я кротко простонал и вылез из корыта. Два ведра вылил на себя с остервенением. Потом, сидя на корточках перед пастью печки, голову засовывал в нее, чтобы хоть немного просушить.

«Воспаление легких у меня, конечно, получится. Крупозное, после такой поездки. И, главное, что я с нею буду делать? Этот врач, уж по записке видно, еще менее, чем я, опытен. Я ничего не знаю, только практически за полгода нахватался, а он и того менее. Видно, только что из университета. А меня принимает за опытного...»

Размышляя таким образом, я и не заметил, как оделся. Одевание было непростое: брюки и блуза, валенки, сверх блузы кожаная куртка, потом пальто, а сверху баранья шуба, шапка, сумка, в ней кофеин, камфара, морфий, адреналин, торзионные пинцеты, стерильный материал, шприц, зонд, браунинг, папиросы, спички, часы, стетоскоп.

Показалось вовсе не страшно, хоть и темнело, уже день таял, когда мы выехали за околицу. Мело как будто полегче. Косо, в одном направлении, в правую щеку. Пожарный горой заслонял от меня круп первой лошади. Взяли лошади действительно бодро, вытянулись, и саночки пошли метать по ухабам. Я завалился в них, сразу согрелся, подумал о крупозном воспалении, о том, что у девушки, может быть, треснула кость черепа изнутри, осколок в мозг вонзился...

– Пожарные лошади? – спросил я сквозь бараний воротник.

– Угу... гу... – пробурчал возница, не оборачиваясь.

– А доктор что ей делал?

– Да он... гу, гу... он, вишь ты, на венерические болезни выучился... угу... гу...

– Гу... гу... – загремела в перелеске вьюга, потом свистнула сбоку, сыпнула... Меня начало качать, качало, качало... пока я не оказался в Сандуновских банях в Москве. И прямо в шубе, в раздевальне, и испарина покрыла меня. Затем загорелся факел, напустили холоду, я открыл глаза, увидел, что сияет кровавый шлем, подумал, что пожар... затем очнулся и понял, что меня привезли. Я у порога белого здания с колоннами, видимо, времен Николая I. Глубокая тьма кругом, а встретили меня пожарные, и пламя танцует у них над головами. Тут же я извлек из щели шубы часы, увидел – пять. Ехали мы, стало быть, не час, а два с половиной.

– Лошадей мне сейчас же обратно дайте, – сказал я.

– Слушаю, – ответил возница.

Полусонный и мокрый, как в компрессе, под кожаной курткой, я вошел в сени. Сбоку ударил свет лампы, полоса легла на крашеный пол. И тут выбежал светловолосый юный человек

с затравленными глазами и в брюках со свежезаутюженной складкой. Белый галстук с черными горошинами сбился у него на сторону, манишка выскочила горбом, но пиджак был с иголочки, новый, как бы с металлическими складками.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.